

Λ 2006

14441K



Дружба
народов

Константин
ГАЙВОРОНСКИЙ

Дорогие недрузи



RARITY



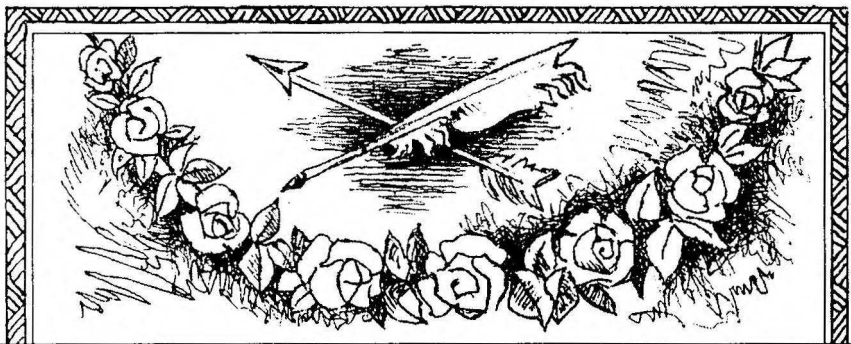
PUBLISHING
COMPANY LTD

Константин Гайворонский

**Дорогие
недрузги**

Повести

**Алматы
«Раритет»
2006**





Дружба
народов

Константин
ГАЙВОРОНСКИЙ

Дорогие
недрузи

Повести



RARITY

R

PUBLISHING
COMPANY LTD

ББК 84Р7-44

Г14

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Выпущено по программе Комитета информации
и архивов

Серия выходит в свет с 2002 года

Автор проекта «Алтын қор» — *З. Сериккали*

Автор художественного оформления серии — *А. Тленшиев*

Гайворонский К.

Г14 **Дорогие недруги: Повести.** — Алматы: Раритет,
2006. — 368 с. — Библиотека «Алтын қор».

ISBN 9965-770-10-7

В наше время, когда независимый Казахстан занял подобающее ему место в евразийском пространстве, когда молодая страна, преодолевая сложности переходного периода, небезуспешно входит в мировое сообщество, интерес к отечественной и всеобщей истории значительно вырос. Поэтому авторские оценки и размышления, предположения и гипотезы, основанные на достоверных фактах, лишенных идеологической заданности, несомненно, привлекут внимание старшеклассников, учителей, студентов, аспирантов, преподавателей вузов — всех, кто любит историю и литературу.

ББК 84Р7-44

Г $\frac{4702010201-06}{413(05)-06}$

© Гайворонский К.К., 2006

© ИК «Раритет», 2006

ISBN 9965-770-10-7

© Художественное оформление М. Палаткина, 2006

ПОВЕСТЬ - ЭССЕ

ДОРОГИЕ НЕДРУГИ, или МИЦКЕВИЧ И ПУШКИН В ИНТЕРЬЕРЕ ВРЕМЕНИ

*Кто знает, может быть, история
станет художественным произведе-
нием и заменит роман...*

В.Г. Белинский

Многое мы понимаем с опозданием.

Недавно я уразумел, что моя трудовая биография началась в ссылке — из Краснодара выдворили в целинное село Никольское, которое поныне стоит в степи, под небом. Правда, обошлось без конвоя, ибо было это не в мрачные тридцатые годы прошлого столетия, а в середине шестидесятых, когда по стране бродила-шаталась оттепель (патент Эренбурга).

Причина ссылки деловито излагалась в выписке из диплома: в связи с тем, что мною окончен полный курс историко-филологического факультета с правом преподавания... Диплом на руки не выдали, смеаю, чтобы не сбежал, а сбежать мог, так как, повторяю, был не законвоирован.

В селе проживали немцы, поляки, тоже ссыльные. Года за два-три до моего приезда им выдали паспорта и отменили повинность являться в комендатуру.

Прибыл я в Никольское в год празднования десятилетия освоения целинных земель. В область из Москвы пригнали два вагона с медалями и значками, на собраниях выдавали. Мне тоже хотели выдать, но воздержались: молод, да и за что? Я заметил, награждали в основном приезжих, а тех, кто прожил в этих краях всю жизнь, как бы

не замечали, они в умах начальства, стало быть, не гнули хрип на этих действительно бескрайних землях.

Преподавал я в дневной и вечерней школе. Недельная нагрузка порядка тридцати часов. К вечеру в горле першило. Получал где-то 120 рублей в месяц, по нынешнему курсу 12 тысяч тенге. В общем, жаловаться грех. Раз в неделю баня, телевизоров в округе не было, зато имелось радио. В методическом плане я был слабоват, поэтому вещал, как радио, прекрасно понимая, что напрасно игнорировал в институте методики преподавания, выпускники филфаков меня поймут.

Больше всего хлопот было с вечерниками в девятом классе. Их перевели из восьмого условно, без аттестации по литературе: не было учителя. Ученики мои днем перекрывали план по отгрузке и вывозке зерна — урожаем выдался юбилейный, за миллиард пудов, — а вечерами ударными темпами усваивали две программы по изящной словесности, с вахты на вахту попадали. Тяжело им приходилось, да и мне тоже. Попробуйте в голову уставшего человека втемяшить идейные искания героев Толстого, мироощущение юной Наташи Ростовской и непосредственность Пьера Безухова, который мне казался круглым олухом. Анной Карениной я тоже не восхищался; когда Лев Николаевич бросил ее на рельсы, катарсис не потряс мою душу. Меня это смущало — всем нравилась Анна, а мне нет, значит, думалось, не дорос я до понимания художественных тонкостей. Приободрит меня Бунин, в его записях я найду фразу: «Мне хочется переписать «Анну Каренину» и сократить ее вдвое».

Разумеется, о своем отношении к героям я помалкивал, не дело учителя высказывать свое мнение, его дело сообщать кем-то выдуманное. На сообщениях у нас было построено изучение истории и литературы, а надо бы — на понимании и своем отношении к прочитанному.

Выручал меня Пушкин. Александра Сергеевича я подпрыгал ко Льву Николаевичу: надо было, напомним, ликвидировать годовой хвост. При звуках лиры уставшие работяги маленько отгаивали, в глазах загорались осмысленные огоньки; я что-то читал наизусть, первая глава «Онегина» впаялась в память еще в восьмом классе, причем без зубрежки.

Конечно, жизнь сильнее литературы, заодно и Пушкина. И вот тому пример...

Был у меня ученик Ловецкий, который не любил, когда задавали вопросы. Жил он не в нашем селе, а в поселке машиноиспытательной станции, километрах в пяти от Никольского. После занятий ему приходилось час с гаком топтать домой по темной степи. Однажды я рассказывал об отношениях между Пушкиным и Мицкевичем. Посыпались вопросы, а Ловецкий — между прочим, иногда приходил в школу под градусом — торопился, до лампочки ему отношения двух гениев, и он раздраженно выкрикнул, мол, что тут выпытывать — корешами были поэты, стихи друг другу читали; и раздраженно засопел, поглядывая на часы.

В общем-то, Ловецкий был прав, причем его оценка взаимоотношений Пушкина и Мицкевича четко укладывалась в литературоведческую концепцию — в монографиях, учебниках, статьях литературоведа писали то же самое, используя, разумеется, свою, а не *ловецкую* лексику.

В моем сознании, образца юбилейного года, поэты тоже были друзьями. И продолжали оставаться таковыми долгие годы. Со временем, когда поднакопилось жизненного опыта, в голове стал вилять хвостиком вопрос: могут ли поэты быть друзьями? Перебираю в памяти имена — ни одной пары, кроме Пушкина и Мицкевича. А они — действительно ли дружили, как пишут литературоведы? Это вопрос, предтеча его вот в чем...

Творческие люди дышат одним воздухом, в коем витают одни идеи, они их улавливают, осмысливают, дают оценки — могут ли эти оценки полностью совпадать? Ответ напрашивается: нет. Разные оценки приводят к разномыслию, к спорам, споры рождают разногласия, разногласия ведут к ссорам, а помириться поссорившимся нелегко — все мы в глубине души немного большевики.

С этой «предтечей» я жил-поживал, тянул служебную нуду, а вопрос изредка помахивал хвостиком.

Как-то сидел в читзале, листая старые журналы, в одном из них прочел: «История отношений Пушкина и Мицкевича еще не написана. Биографы Мицкевича склоняются к тому, что отношения их были сложные, и трудно говорить о дружбе двух поэтов» (*ВЛ*, с. 178)¹.

¹ Список условных сокращений и использованной литературы приводится в конце повести. Здесь и далее примечания автора.

Это Ахматова, ее «Неопубликованные записки». Надо полагать, биографы «склонялись» в устных беседах с Анной Андреевной, в статьях и книгах писали иное: мнения у нас всегда подразделялись на официальные и коридорные.

Ахматова не привела доказательств, уронила фразу и пошла дальше — в ее задачу входил анализ некоторых произведений Пушкина на интуитивном уровне, ее не интересовали подробности и доказательства.

Здесь кстати вспомнить Чаадаева, который начертал: «Переоценка истории есть единственная возможность пути». Все документы, записки, свидетельства о жизни и творчестве Пушкина опубликованы, новых, вероятно, уже не отыскать, их попросту нет, но это не значит, что пушкинская тема закрыта. Ахматова — вероятно, она — открыла интуитивный метод исследования, чем и предопределила «возможности пути» в дальнейшем изучении перипетий жизни Александра Сергеевича. Методику Анны Андреевны я попытаюсь освоить.

Фоном для моих заметок об отношениях Пушкина и Мицкевича будут Россия и Польша в первой трети XIX века. Так мне видится, фон еще зыбко колыхнется, как марево.

С Россией особых проблем нет, я вскормлен и вспоен ее культурой и историей. А вот с Польшей... Каким боком я к ней, левым, правым? А она ко мне? Смущает меня вот что: кроме имен Коперника, Мицкевича, Огинского, Сенкевича, Парандовского, ну и еще пяти-шести, которые к повествованию не будут иметь никакого отношения, — я ровным счетом ничего не знаю о Польше. Ну, читал повесть «Тарас Бульба», так в ней Гоголь резко тенденциозен: поляки плохие, наши хорошие. Вряд ли Николаю Васильевичу когда-нибудь поставят памятник в Польше. Его и на Украине не шибко жалуют.

Может быть, отказаться от фона? Но это обеднит повествование, обеднит Мицкевича, который непредставим без Польши, как Пушкин без России. В общем, фон будет, склоняюсь к этому, тем более, пораскинув мозгами, я обнаружил ниточки, соединяющие меня с Польшей. К примеру, вспомнил — на подушечке боевых наград моего отца Константина Александровича приколоты медаль «За взятие Варшавы».

Далее... Я служил в Брянске, а это пограничье с Польшей. Тем, кто справедливо оспорит мое заявление — Брянск едва

ли не в центре европейской части России! — посоветую найти карту XVII века и всмотреться в нее... Витебск, Смоленск, Гомель, Чернигов, Полтава — польские города, Брянск у самой границы. Польше принадлежали Курляндия, Литва, две трети Балтии. Это важно для дальнейшего повествования.

Какие еще ниточки?..

Учительствуя в целинном селе, я снимал комнату у ссыльных поляков Залеских. От хозяина узнал о ссыльных Клопотовских; не многие помнят, что в романе Николая Островского «Как закалялась сталь» есть персонаж по фамилии Клопотовский, знакомый Павки Корчагина. Не родственники ли они персонажу? Если родственники, то они могут помнить Островского. Выслали их из Шепетовки, где прошло детство писателя, — это подогревало интерес. Поехал на забытое Богом отделение совхоза, расспрашивал стариков — нет, не помнят Островского, о романе ничего не слышали.

Хозяин мой — вижу лицо, фигуру, а имя-отчество запомнил, грех это — имел пчел, мед держал в сорокалитровых алюминиевых бидонах. Ходили мы по субботам в баню. После бани он наливал стакан водки, добавлял пару столовых ложек меда — давай! Приняв пару раз на грудь, я ощущал чувство глубокого удовлетворения, голова соображала, а ноги не желали ходить.

На русском он изъяснялся не хуже меня, разве что чрезмерно звякало «з». И все же беседуя со стариком Залеским, я не мог уразуметь его спокойно-отстраненного отношения к ссылке: так говорят о командировке или о поездке в райцентр. Время заставило примириться, привычка, каждодневные заботы. Теперь уже не узнать ему, что в Варшаве открыли мемориал в память о вывезенных на Восток, не увидит он железнодорожную платформу, уставленную грубо сколоченными крестами, не прочтет на шпалах названия населенных пунктов, что стали для сосланных последним пристанищем. К этим названиям следовало бы добавить и село Никольское Макинского района Целиноградской области.

Здесь я распрощаюсь с молодостью и приступлю к делу.

Нас ждет XIX век, ссылки, перехлест интересов, мнений, звяканье шпор, свист пуль и бряцанье сабель, скитания, демоническая любовь и, конечно, стихи, ибо главными действующими лицами моих заметок будут поэты, и какие!

Но начну я не с них...

Часть первая

ПРЕДУВЕДОМЛЯ О ДАЛЬНЕЙШЕМ

СОБОЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Судьбе было так угодно: он — между Пушкиным и Мицкевичем на протяжении десяти лет.

Емко о нем известный литературовед и писатель: «Он принадлежал к числу тех исключительных фигур, к которым история бывает всегда неблагодарна. Человек огромного вкуса, широкого и многостороннего образования, он был «другом литературы», но не был сам литератором; он давал яркие мысли, свежие образы, тонко схваченные рифмы, сложные замыслы многим писателям, с которыми дружил. Он был подобен тем режиссерам, которые, раздарив свой талант актерам, сами не выступают на сцене. Он был организатором тех соприкосновений, контактов разнообразных литературных школ, направлений и течений в Европе, которые без посредства не могли бы соприкоснуться» (*Виноградов, с. 8*).

Он был контактен, прост, остроумен, щедр, практичен, иногда, в молодости, безалаберен, заносчив, высокомерен с вельможами, фонтанировал эпиграммами, ценил дружбу. У друзей и знакомых его — имена редкие и вечные: Мериме, Грибоедов, Лермонтов, Глинка, Брюллов, Гоголь, Тургенев, Толстой; обедал с Наполеоном Третьим, якобы был в любовной связи с юной испанской королевой Изабеллой Второй. Так ли? Не опровергал и не отрицал. Он не относился к тем ловеласам, которые развлекают общество за счет своих дам. Впрочем, обладая чувством юмора, сам мог выпустить эту «утку».

Доказать не могу, рискну предположить: в последние шесть-семь лет жизни Пушкина Соболевский был для него первым другом.

«Мой милый Соболевский».

«Остановлюсь у тебя».

«Вечор узнал о твоём горе (у Соболевского умерла мать, — К.Г.), посылаю мою наличность, остальные 2500 получишь вслед».

«Прощай, мой друг».

«Безалаберный! Ты живот, Калибан».

«Пожалуйста, приезжай, мне с тобою непременно надо поговорить» (*Письма*).

Слог, тон, обращения — дружеские.

Соллогуб: «Я твердо убежден, что если бы С.А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах» (*ПВС, т.2, с.302*).

К этому свидетельству просится еще одно.

В сороковые годы, проживая в Париже, Мицкевич испытывал материальные затруднения. Московские литераторы бросили шапку по кругу, собрали пять тысяч рублей. Соболевский, вместе с Хомяковым, не только инициировал сборы, но и доставил деньги Адаму Адамовичу Вральману, так он называл Мицкевича.

«Дорогой Сережа! Я сердит на тебя за то, что до сих пор еще не пожал тебе руку... А.М.» (*Цит. по: Виноградов, с.257*).

Вяземский в шутку называл Соболевского демоном.

Сергей Александрович обедает с Пушкиным в Москве, Мицкевич зовет его в гости в Париже («Тебя угостят борщом, хреном и хлебом на выбор»), из Рима Демон угрожает («О Пушкин, Пушкин! Пиши мне... я тебя здесь хвалю величаю; не то — напечатаю свой перевод тебя, и горе, горе посрамленному»), в Париже заставляет Мериме перевести пушкинский «Анчар» на латинский язык, в Петербурге хлопочет об издании седьмой главы «Евгения Онегина», в ней встречается выражение «архивны юноши» — патент принадлежит ему, Соболевскому, который в течение нескольких лет состоял на службе в Московском архиве Коллегии иностранных дел, как и остальные «юноши» ровным счетом ничего там не делая.

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.

Вновь Москва, из донесения агента 3-го Отделения Его императорского величества Канцелярии: «Известный Соболевский (молодой человек из московской либеральной шайки) едет в деревню к поэту Пушкину и хочет уговорить его ехать с ним за границу. Было бы жаль. Пушкина надобно беречь как дитя. Он поэт, живет воображением, и его легко увлечь. Партия, к которой принадлежит Соболевский, проникнута дурным духом...» (ДП, т. 2, с. 294).

И шутки его тоже «проникнуты», но не дурным, а легким, незлобным и талантливым, что ли, духом.

Не мистифицируй он Пушкина (и Мицкевича) — и не было бы у Александра Сергеевича «Песен западных славян». О том, что мистификация присутствовала, убеждают первые строки письма Мериме к Соболевскому.

«Я был уверен, милостивый государь, что *Гусли* (книга песен, якобы собранных Мериме. — К.Г.) имела не больше каких-нибудь семи читателей; считая в том числе Вас, меня самого и типографского корректора. Я с огромным удовольствием вижу, что нашлись еще два (Пушкин и Мицкевич. — К.Г.), для того чтобы получилось красивое целое...» (Цит. по: *Виноградов*, с. 50—51).

Мериме иронизирует, мол, ничего себе — поэтов за нос поводит!

В чем, собственно, дело? А в том, что Соболевский, вернувшись очередной раз из чужих краев — в поездках провел едва ли не четверть жизни, — привез в подарок Пушкину и Мицкевичу по книжке «*Гусли*» — вот, мол, как надо писать, здесь вам и народность, и колорит, и поэзия, и много чего еще.

На поэтов привезенная книга произвела большое впечатление, они, что называется, проглотили ее, персты их потянулись к перу — переводить. Пушкин перевел шестнадцать песен, Мицкевич — одну, «*Влах в Венеции*», причем Александр Сергеевич в примечаниях к своей публикации не преминул заметить задним числом: «Мицкевич перевел и украсил эту песню», — и в предисловии тоже сослался на собрата по призванию: «Поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в словенской поэзии, не усумнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию» (ПСС, т. 3, с. 283).

Эти ссылки Александр Сергеевич делает после того, как узнал от «безалаберного» Соболевского, что автором песен является Мериме.

Пушкин уязвлен. Он — не верит. Быть не может! Народные обряды, язык, слог, невероятные случаи, которые нельзя выдумать, наконец, его, пушкинский вкус, чувство слова — нет, «живот» вновь желает над ним подшутить.

Только в письменное подтверждение Мериме он поверит.

И Соболевский обращается к дорогому Просперу, с которым коротал досужие часы в беседах о политике, литературе, человеческих нравах и еще Бог знает о чем.

Пушкин: «Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен; С.А.Соболевский, по моей просьбе, писал к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее...»

Александр Сергеевич приводит целиком письмо французского писателя, который растолковывает, «на чем основано изобретение». Патент состоял в том, что Мериме с одним из своих друзей задумал путешествие по Италии, а денег не было. «Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить...На себя я взял собиание народных песен и перевод их».

Местный колорит, пишет Мериме, он черпал из затрепанной брошюры французского консула, который знал несколько иллирийских слов. Эти слова писатель трансформировал на итальянский, и — «тогда я обратился к одному из моих друзей, знающих русский язык, я читал ему текст, произнося его по-итальянски, и он понимал почти все».

Сочиненные песни Мериме снабдил примечаниями, что усилило эффект подлинности.

«Вот и вся моя история. Попросите, пожалуйста, Пушкина извинить меня. Я и горжусь, и в то же время чувствую себя смущенным тем, что я его так посадил на мель».

Но на этом история не кончается — Пушкин дважды садится на мель! Имея в руках письмо Мериме, сделав перевод на русский, он излагает биографию мифического, рожденного фантазией французского писателя гусяра Маглановича. «Приводя это действительно прекрасное жизнеописание, Пушкин естественно впал в новую ошиб-

ку, и тем на много лет прославил творческий гений французского автора, как бы укравшего у жизни этот образ никогда не существовавшего далматинского сказочника» (Виноградов, с. 51).

А всему виной — «живот, Калибан».

Узнав от улыбающегося Соболевского, что на крючок мистификации и Мицкевич клюнул, Пушкин обрадовался: «Право же, в отличную компанию я попал» (ДП, т. 2, с. 286).

Мериме пишет, что в период сочинения песен он «обратился к одному из моих друзей, знающих русский язык». Мне представляется: это — Соболевский. Доказать, увы, не могу. Предположение мое строится на простых доводах. Для того чтобы оценить поэтический текст, нужно в совершенстве владеть языком, быть начитанным человеком. Разумеется, таковых много в Париже, но друзей среди русских у Мериме — один Соболевский. Шапочные знакомства я не рассматриваю. Они были, однако, согласитесь, читать свои произведения первому встречному — да с какой стати? Для декламации стихов необходимо духовное сближение, надо знать человека, доверять его вкусу, ибо, читая поэтический текст, ты приоткрываешь душу, делишься некой тайной. К тому же нужна соответствующая обстановка, квартира, куда первого встречного не пригласишь. А Соболевского Мериме приглашал домой.

Зная о том, что его строки будет читать Пушкин — в этом, собственно, смысл письма, — Мериме деликатно не дезавуирует Соболевского, ссылаясь на «одного из моих друзей». Мало ли как может отреагировать Пушкин, француз с ним не знаком, кое-что читал из его произведений, переводил, как я уже сказал, наслышан о нем от энергического Соболевского, но поскольку Проспер затеял игру на грани фола — лучше поостеречься, не сталкивать лбами своих русских читателей.

У Александра Сергеевича в глубине души, предполагаю, не обида, а досада, и тут Мицкевич для него очень кстати, в компании с популярным в московских и петербургских кругах импровизатором ему уютнее, чем одному. Но Мицкевича Пушкину мало, он ссылается еще и на какого-то ученого немца, написавшего о песнях пространную диссертацию, забывая упомянуть другого ученого, и тоже немца, по имени Гете, который раскусил подделку

и раскатисто посмеялся над Мериме. Думаю, по-доброму посмеялся, мог назвать Проспера шалуном.

Одни называли Соболевского «маленькой знаменитостью», другие — «импортным милордом». Он весел, словоохотлив, гремит, как оркестр, делится проектами — «хочу всю Россию исчертить паровыми телегами, паровыми каретами, возами и прочее. Да об этом — тс, тс, тс...» (*Цит. по: Виноградов, с. 221*).

У него не язык, а жало — значит много врагов, недоброжелателей. Один из них: «Уставший скиталец по белу свету, библиоман, англоман, друг поэтов и артистов всего мира, Сергей Александрович, который умел составить себе литературное имя еще в 20-годах этого столетия, близкий дружбою и кутежами с Пушкиным...» (*Н.В. Берг. См.: РС, 1891, № 2, с. 252*).

Вигель в унисон: «Пушкин любил Соболевского преимущественно за неистощимое остроумие, живые экспромты, щеголявшие оригинальными рифмами, неизменную веселость и готовность кутить и играть в карты когда угодно» (*ДП, т. 2, с. 282*).

Филипп Филиппович Вигель, известный мемуарист и тайный советник, еще появится на страницах моих заметок, но здесь я должен его прервать: вранье-с!

Соболевский в карты не играл.

Как так? Карты, писал Вяземский, имели значение, почитались за предмет быта, все играли.

А он пренебрегал!

Вы не поверите — и не пил вина! Уже в зрелые годы пристрастится к венгерскому.

Как я сочувствую Льву Александровичу Пушкину, брату поэта!

Он зван на обед к Соболевскому, с которым три года учился в Благородном пансионе при Петербургском пединституте, три года жили в одной комнате, долбили словесность, Кюхельбекер помогал, Пушкин одобрительно кивал: учитеесь, юноши, учитеесь! И вот, с радостью откликнувшись на приглашение, Лев заявляется к старому, верному другу — и что видит на столе? Ши, каша, квас. А где же вино, черт возьми?!

Обиделся Лев Александрович, не ожидал он такого приема.

Я к тому, что не кутежи, как пишут Берг и Вигель, сблизили Сергея Александровича и Александра Сергеевича, а общение и книги. У Соболевского — лучшая в России частная библиотека, порядка 25 тысяч томов, размещается в десяти комнатах! Это дает ему право недооценивать собрание книг Пушкина; после смерти друга, когда встал вопрос о продаже библиотеки, Соболевский, деловой и практический, резюмирует: за нее много не дадут, а книги с пометками Пушкина советует не продавать. Умный человек!

Его называли библиоманом, англоманом — а что в этом плохого? Вместе с Мальцовым, которого в свое время Грибоедов взял секретарем русского посольства в Тегеран, он владеет бумажно-прядильными фабриками, ездит в Англию за опытом, в Лондоне и других городах не пропускает книжные магазины, следит за новинками, для чего подписался на библиографический словарь, издаваемый португальцем де Сильвой, и аккуратно оный получает. Но вот что-то издатель медлит, очередной том задерживается. В чем дело? — интересуется он в письме; Сильва извиняется: подорожали накладные расходы, нет средств. Как так, в просвещенной европейской стране не могут собрать денег на благородные, просветительские цели? Ему, подданному России, это кажется со всех сторон невероятным. Быть такого не может в державе, известной миру своей культурой, имеющей мудрое правительство и лучезарную, августейшую королеву Изабеллу Вторую, лицезреть которую ему не раз доводилось на приемах, устраиваемых Ее величеством. Сильва, человек, догадываюсь, предприимчивый и сообразительный, публикует письмо, его зачитывают в парламенте и — вот что значит написать толково, страстно и вовремя — палата вотирует кредиты на продолжение издания!

Несомненно, он обладал чувством слова, пером попушкински лапидарным, за строками проглядывает его озорная натура, живой темперамент, самооценка, как и у многих умных людей — не завышенная, а заниженная.

Вот четверостишие в альбом Ольги Павлицевой, сестры Пушкина —

Пишу тебе в альбом и аз,
Сестра и друг поэта, Ольга,

Хотя мой стих и не алмаз,
А просто мишура и фольга.

Миниатюры Соболевского попали в сборник «Русская эпиграмма». Четыре строки, посвященные живому М.А. Дмитриеву, убивают наповал:

Михайло Дмитриев умре.
Он состоял в девятом классе,
Был камер-юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе.

Он и на Пушкина замахивался, но по-доброму, по-дружески.

Наталья Николаевна его не любила. Да и как она могла к нему по-другому относиться, если Соболевский чуть ли не впал в траур, узнав о помолвке друга? Из чужих краев писал: «Наших задушевных теперь ни одного в Москве, ибо Александр Сергеевич женящийся и Баратынский женившийся — уж не люди» (*ДП, т. 2, с. 284*).

Сам он так и не женился, хотя, по его признанию, «венчан был Амуром разов до пятисот» (*там же*), а Гоголь в записке назвал его: «Высокорослый и аппетитный для дам Соболевский», — пообещал два места в ложу на второе представление «Ревизора», сообщив, что на спектакле будет присутствовать августейшая фамилия.

...22 июля 1833 года Сергей Александрович Соболевский, вернувшись из чужих краев в Петербург и поселившись в гостинице, велел распаковать баулы, извлек из одного из них томик стихов, недавно изданный в Париже, — и устремился на Мойку, к Пушкину.

НОВОСИЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

После убийства Павла Первого трон занимает его молодой сын Александр Павлович, «вокруг него собрались благородные люди: В.П. Кочубей, П.В. Чичагов, М.Н. Муравьев, граф П.А. Строганов, князь А.А. Чарторыжский², Н.Н. Новосильцев» (*Греч, с. 263*).

² Эта фамилия в литературе приводится по-разному: Чарторижский, Чарторыйский, Чарторыский. Здесь и далее я оставляю написания авторов.

Мемуарист не ведает, что сии «благородные люди» объединились задолго до убийства. «Главными участниками первой антипавловской оппозиции были лица — Чарторыйский, Новосильцев, Строганов, Кочубей» (ИЕА, с. 47).

Среди конспираторов мы видим цесаревну Елисавету Алексеевну, будущую «потаенную любовь» Пушкина, которая слушает речи о политических делах в стране, конституционном устройстве — им тяжело под властью Павла Петровича. В письме к матери, написанном молоком, она делится своими чувствами: «Я, как и многие другие, ручаюсь головой, что часть войск имеет что-то на уме или что они, по крайней мере, надеются получить возможность, собравшись, что-либо устроить. О! Если бы кто-нибудь стоял во главе их!» (Там же).

Будущая императрица не знает имени, а мы догадываемся — Суворов!

Конспираторы ждут его возвращения из триумфального заграничного похода, генералиссимус едет на родину, ему готовится пышная встреча, однако грядущий триумф сменяет опала. Что случилось?

Кочубей — послу в Лондоне Воронцову:

«Полковник Бутурлин вот уже три месяца как повредился в уме. Его безумие дошло до такой степени, что пришлось уволить его в отставку и отдать на попечение родителям. Он прибыл в их имение и спустя некоторое время отправил губернатору письмо, в котором сообщил, что такие-то и такие-то лица, коих он наименовал, вынашивают революционные идеи. Что эти люди помышляют превратить Сибирь в Вандею и что центр заговора находится в Тобольске» (Родина, 41).

Среди прочих Бутурлин назвал Новосильцева, который находился в Англии. Воронцов передает предостережение Новосильцеву, последний собирался отплыть в Россию, однако отъезд откладывает.

Можно предположить, что Кочубей, сообщник Новосильцева по тайному кружку, пишет для того, чтобы предупредить друга: поостерегись. При этом, в интересах конспирации, он объявляет доносчика полоумным, Россию

называет Сибирью, а под Тобольском подразумевает известный Воронцову и Новосильцеву город³.

Надо полагать, губернатор переслал письмо Бутурлина в Петербург — и реакция императора не заставила себя ждать: торжественная встреча генералиссимуса отменена.

В русле моих догадок и нерешительность Новосильцева: если сигнал Бутурлина действительно бредовый, если ты ни в чем не замешан, то зачем откладывать отъезд?

Павел Петрович лишен трона без него, в сутолоке, впопыхах — и жизни. Новосильцева нет в Петербурге — это обстоятельство козырь в его карьере. Законспирированный кружок, в котором он состоял членом, превращается в Негласный комитет — инстанция влиятельнее Госсовета. В комитете свободно толкуют о преобразованиях и конституции.

При Александре Павловиче Новосильцев занимает ряд высших государственных должностей: попечитель Петербургского учебного округа, президент Академии наук, товарищ министра юстиции (*СИЭ*, с. 291).

Почти воочию мы видим его в записи Державина, относящейся к первому году царствования Александра Первого. О себе поэт и сенатор пишет в третьем лице, как Цезарь, уважительно.

«Мнение сенатора и поэта Г.Р. Державина, в 1801 году поданное и известное под названием «Предисловие к конституции Державина». Трое ходили тогда с конституциями в кармане — реченый Державин, князь Платон Зубов с своим изобретением и граф Никита Панин с конституцией английскою, переделанною на российские нравы и обычаи. Николаю Николаевичу Новосильцеву, жившему тогда во дворце и всем управлявшему, стоило в то время большого труда наблюдать за царем, чтобы он не подписал которого-либо из проектов, который же из проектов был глупее, трудно было решить. Все три были равно бестолковы» (*цит. по: Эйдельман, 142*).

И хорошо, что не подписал. Конституция, принятая в начале XIX века, резко затормозила бы развитие России.

³ О вероятном участии в деле А.В. Суворова см. подробнее в моей повести «Коронованный Гамлет»//«Простор», 2000. — № 4, 5, 6. При работе над повестью я не располагал письмом Кочубея.

Это в наши дни конституции превратились в декларативные акты, а в то время утвержденный Основной закон пришлось бы исполнять, что неминуемо привело бы к ограничению исполнительной власти, которая в империи и без того ограничена необъятными просторами, суровым климатом, отчаянной необразованностью населения и дикими нравами — Чаадаев прозорливо видел источник нашей отсталости в географическом факторе. Кроме того, чтобы нейтрализовать красивые конституционные фразы подзаконными актами, как делается в нынешние времена во многих странах, — для этого у наших пращуров не хватило бы находчивости и цинизма, их сознание не было замутнено государственной целесообразностью. Принимая сие во внимание, не налегая на сослагательное наклонение, можно почти безошибочно предположить: Отечественную войну 1812 года Россия неизбежно проиграла бы. А война все равно была бы, с конституцией и без оной, ибо, подписав после поражения русской армии под Аустерлицем договор с Наполеоном о блокаде Англии, Александр, под давлением общественного мнения, в дальнейшем отказался его выполнять, что и привело к войне, а вовсе не якобы маниакальная идея завоевания мира, обуревавшая Наполеоном, о чем пространно писалось в учебниках и монографиях.

К слову, Новосильцев встречался с Наполеоном, но не любил об этом вспоминать, «в своих сношениях он испытал от императора французов какую-то неприятность» (*РА, № 9, столбец 1720*).

Итак, если верить Державину, Николай Николаевич отвергал осуществление бестолковых конституционных проектов. И не без успеха, хотя авторы проектов очень влиятельные люди. К примеру, Платон Зубов при бабке Александра Екатерине Великой — второй человек в империи, стало быть, по меньшей мере — полувеликий, а Никита Панин — идеолог свержения Павла, Никите молодой император всецело доверяет. Тем не менее, Новосильцев выстоял, вразумил Александра, однако в польском вопросе не смог найти достаточных аргументов, пороку не хватило. С монархом — поссорился!

Он был категорически против предоставления Польше автономии и конституции.

В приватной беседе:

— Саша, это обернется конфузом. (Н.Н. на пятнадцать лет старше царя. — К.Г.)

Александр Павлович совмещал в себе молодость, образованность и меланхоличность с поистине ослиным упрямством.

— Чтобы не обернулось конфузом, поезжай, Николай Николаевич, в Варшаву.

Так Новосильцев становится первым в России комиссаром.

Должность его называлась — Российский комиссар Его величества при правительстве Царства Польского.

ПОЛЬША

Последний король Польши Станислав-Август — Екатерине Второй: «Судьба Польши — в ваших руках».

Екатерина Алексеевна отвечала: «Судьба Польши... есть следствие начал разрушительных для всякого порядка и общества, почерпнутых в примере народа, который сделался добычею всех возможных крайностей и заблуждений» (*цит. по: Соловьев, кн. 16, с. 627*).

Под крайностями и заблуждениями императрица разумела непомерное стремление ясновельможных панов, крупных земельных магнатов к полной независимости. Из глубины веков дошла до нас если не поговорка, то устойчивое словосочетание: «Как дела? — Как в Польше, где каждый встречный — пан».

Всепоглощающее желание быть паном приводит к разбитому корыту.

«8 января 1795 года Станислав-Август простился с главнокомандующим и был так тронут нежным прощанием Суворова, что растерялся и не припомнил всего, что хотел ему сказать. Станислав-Август не возвратился в Варшаву; Польша исчезла с карты Европы», — заканчивает свою работу «История падения Польши» С.М. Соловьев (*там же, с. 628*).

А начиналось все 130 лет назад.

«В 1653 году посол Московского царя Алексея Михайловича Борис Александрович Репнин потребовал от польского правительства, чтобы православным русским людям впе-

ред в вере неволи не было и жить им в прежних вольностях. Польское правительство не согласилось на это требование, и следствием было отпадение Малороссии. Через сто с чем-нибудь лет посол Российской императрицы, также князь Репнин, предъявил то же требование, получил отказ, и следствием был первый раздел Польши» (*указ. соч.*, с. 421).

Современный исследователь, имеющий польские корни, доктор философии, тоже усматривает беды Польши в расколе паствы на католическую и православную. «Польские короли и большая часть польского общества не только не остановили этого раскола, не только не постарались достигнуть примирения, но с какой-то шизофренической, полубезумной горячностью раздували проблему, ставили во главу угла принадлежность к католицизму. Религиозная упертость поляков дорого им обошлась. Немалая доля их собственных стараний привела к тому, что их собственная страна стала частью Российской империи, а посреди Варшавы построили православный храм» (*Буровский*, с. 475).

Напомню, разделов Польши было три. Наполеон бросил кость, вернув полякам государственность, однако понизив статус: Польша превратилась в герцогство. Поляки приободрились, пополнили ряды наполеоновской армии, доблестно сражались в Испании, не без успеха истребляли русских под Смоленском и Бородино, возлагая надежды на обещание французского императора превратить герцогство в королевство. Надежды укрепились, приобрели остойчивость после того, как Мария Валевская стала любовницей Наполеона.

Ватерлоо поставил крест на чаяниях и помыслах. Венский конгресс 1815 года постановил: «Герцогство Варшавское присоединяется к Российской империи; оно будет безвозвратно соединено с нею своей конституциею под вечным владением императора всероссийского, его наследников и преемников. Его императорское величество оставляет за собою право предоставить этой области, пользующейся особенною администрациею, такое внутреннее очертание границ, какое сочтет приличным» (*цит. по: Соловьев*, кн. 18, с. 507).

Надо ли говорить о том, что подобные документы тщательно выверяются и согласовываются? Российские дипломаты — среди них и Новосильцев — с нажимом выво-

дят: «Под вечным владением императора... его наследников и преемников». Дело в том, что у Александра Павловича покуда нет наследника, и он уже смирился с мыслью, что не будет. Поэтому слово «преемников», пристегнутое к предыдущему, чрезвычайно важно.

Еще одно соображение. Польша названа областью, то есть Александр Павлович мог включить ее в империю на правах губернии — какого-либо международного резонанса это не вызвало бы. Александр Павлович не воспользовался реальной возможностью — в этом я вижу личностный фактор, о котором историки не пишут, ибо нет документов. Их и не может быть: о самом сокровенном не принято говорить и писать — вот почему в человеческих отношениях самое интересное не то, о чем заявляют, а то, что скрывают. Александр Павлович, воспитанный в рыцарском духе Его преимущественно гроссмейстером Мальтийского ордена Павлом Петровичем, умалчивал о своем заочном нравственном поединке с низринутым Наполеоном Бонапартом, который, возродив Польшу, даровав ей статус герцогства, тем самым изменил карту Европы. Он, Александр Благословенный, может сыграть красивее — вот вам Царство Польское, господа! Причем округленное, к новому автономному образованию просвещенный монарх намерен присоединить Литву. Разве это не впечатляющий жест?! Да поляки в одночасье забудут этого нехристя-корсиканца, они станут молиться на благородный лик российского императора.

Это — идеологическая составляющая. Есть еще одна, практическая.

Не надо представлять Александра Павловича романтиком и меланхолическим мальчиком, время неумолимо движется, меняя все вокруг, на Венском конгрессе ему уже под сорок, он поднаторел в интригах и давно сообразил: высказывать надо часть того, о чем думаешь, — за что его советские историографы, более полувека покушавшиеся на истину, назовут двуличным. Позвольте, а кто из власть предержащих не двуличен? Поройтесь в анналах истории — кто? Я могу назвать двух — Петра Третьего, рубаху-парня, даровавшего вольность дворянскую, следующим логическим шагом было даровать волю всем условиям, и его сына Павла Первого, заставившего дворян